

Василий Аксёнов

ВЕСНА В ЯЛАНІ



ЛИМБУС ПРЕСС
Санкт-Петербург

Василий Аксёнов

Весна в Ялани

«Издательство К.Тублина»

2014

Аксёнов В. И.

Весна в Ялани / В. И. Аксёнов — «Издательство К.Тублина»,
2014

ISBN 978-5-8370-0680-7

Герой нового романа Василия Ивановича Аксёнова, как и герои предыдущих его романов, живёт в далёком сибирском селе Ялань. Он неказист и косноязычен, хотя его внутренняя речь выдаёт в нём природного философа. «Думает Коля складнее и быстрее, чем ходит и говорит...» Именно через эту «складность» и разворачиваются перед читателем пространство, время, таёжные пейзажи, судьбы других персонажей и в итоге – связь всего со всем. Потому что книга эта прежде всего о том, что человек невероятен – за одну секунду с ним происходит бездна превращений. Ведь глаза его – видят, уши – слышат, тело – осязает. Каждая клеточка его – живая. Книга не просто о людях, она – о душах. Чутко всё. «Душа смутилась... свои глаза и уши у души».

ISBN 978-5-8370-0680-7

© Аксёнов В. И., 2014

© Издательство К.Тублина, 2014

Содержание

Весенний день в марте (Луша)	14
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Василий Аксёнов

Весна в Ялани

Благодатное смирение невидимо, как невидим податель его Бог.
Святитель Игнатий

www.limbuspress.ru

© В. Аксёнов, 2014

© ООО «Издательство К. Тублина», 2014

© А. Веселов, оформление, 2014

* * *

Тридцатого декабря уже прошлого года около восьми часов вечера с елисейской стороны в беззвучную, как вата, заснеженную, словно чистое поле, Ялань, обозначенную лишь редкими, один от другого далеко и беспорядочно отстоящими огнями электрических фонарей, едва мерцающими сквозь густую изморозь, на обелённом снежной пылью и инеем, будто бы маскировки ради перекрашенном, «Ленд Крузере», пробивая безлунную и беззвёздную мглу пронзительным светом ксеноновых фар, въехал лесозаготовитель, лесоторгаш, лесобарон ли, как его здесь – то так, то этак – без малой доли уважения, но и без злобы, без ехидства называют, Фёдор Мерзляков, он же – Фархад Каримович, *в девичестве* Загитов.

Родился Фёдор-Фархад в соседнем с Елисейским Ново-Мангазейском районе, в татарской, основанной когда-то русскими первопроходцами, деревне Солоуха, в татарской семье, недавние предки которой прибыли в Сибирь по Столыпинской реформе, но с шести до шестнадцати лет вместе с родителями жил в Ялани. Когда школу в Ялани унизили до четырёх классов, Загитовы переехали в Милуково, тогда ещё простой посёлок леспромхозовский, а не город, ставший «лесной столицей края», «флагманом отечественной лесной промышленности», где до сих пор и проживает Фёдор, уже давно похоронив родителей и обзаведясь своей семьёй, сначала одной, потом другой, теперь вот третьей, *сойдясь с молоденькой, в дочки ему только и годной, позарившейся на его карман*, то есть богатство, оставив за собой фамилию первой жены.

Мотаясь по своим леснымделянам на уазике или на «Ниве», в зависимости от времени года и погоды, на квадроцикле или снегоходе – только вот вертолёт пока не заимел, купил бы, может, да летать боится, предпочитает по земле перемещаться, – в Ялани, вокруг которой, благодаря доступности и мутным законам или беззаконию кромешному, лес, не считаясь ни с яланцами, ни с Богом, а возможно, и ни с чёртом, выпиливают почти сплошь, как хвойный, так и лиственный, Фёдор бывает часто, как говорится, присмотрелся, поэтому запустению, зимой особенно бросающемуся в глаза и угнетающему душу чувством тоски и безысходности, не удивляется, тяжело по этому поводу не вздыхает, горько и в ужасе не охает. Его, как человека дела, хваткого, с активной жизненной позицией, это особенно и не волнует. Он шире мыслит и иными категориями: лес, если вдруг не расколется астероид и не случится ядерной войны, когда-нибудь нарастёт, поправится, а будущее человечества, хоть застрадайся и умри от горя, всё равно не за деревней и не за малыми городами, а за мегаполисами, конгломератами, общей экономикой и мировым правительством, поэтому и нюни распускать, мол, нечего. Он, Фёдор, нюни и не распускает. Заняться есть ему чем – *деньги зашибает*; и сам, дескать, с протянутой рукой по людям не ходит, копейку у государства не выклянчивает, и народишко вокруг него кормится. Ну ладно.

Утром ещё, как и до этого неделю продержалось, было за пятьдесят – в домах гулко трещали брёвна, лопался, как дно пересохшей в зной лужи, асфальт на дорогах, тихо звенело в

ельниках и пихтачах, чудом ещё оставшихся разрозненными островками, – к полудню с юго-запада неспешно натянуло плотный морок, небо заволокло, и *колотун-бабай* немного присмирел. Повалит снег – тогда ещё, как водится, утихнет. Кто не мечтает, разве не живой, живому – трудно; и неживое, может быть, страдает – ну, те же камни, валуны, хоть и под снегом.

А дорога?

Вот и по «Авторадио» только что, в перерыве между блатным, пропетым хриплым басом одесско-жмеринского трувера, шансоном про судьбу-злодейку, про безответную любовь простого уголовника и гламурной, исполненной дурным фальцетом то ли барышни, то ли трансвестита, песенкой ни о чём, для северных и центральных районов Исленьского края предсказали на ближайшие сутки ослабление морозов до тридцати – двадцати пяти градусов.

– Обещала бабка деду, что подаст ему к обеду... Почти как в Сочи – двадцать пять... Немного, правда, хоть бы сбавило, на Новый год-то... сопли бы не морозить, отогреть. С женой на лыжах можно будет прогуляться, – снижая скорость перед поворотом и притормаживая, чтобы не занесло, сказал Фёдор вслух, словно разговаривая с *раскованными*, болтливыми и самовлюблёнными ведущими радиостанции, вдобавок буркнул что-то по-татарски, неизвестно – по какому поводу, непонятно – кому адресуя. Может, без повода и, может, никому.

А может быть, и помолился.

На перекрёстке – где от улицы, которая называется Городским краем и по которой пробегают тракт, под прямым углом ответвляется другая, которая называется Линьковским краем, а тракт, тут же спускаясь с крутой горы и меняя западное направление на южное, устремляется к следующим прикемским деревням, – прижавшись к снежному, чуть ли не двухметровой высоты, отвалу, остановил машину Фёдор.

Глушить двигатель, выключать магнитолау и гасить свет он не стал. Чтобы *замаскированный* и поэтому почти не различимый на дороге джип, не обозначенный к тому же фарами и габаритными огнями, не задел ненароком какой-нибудь из лесовозов, которые, как муравьи летом по своим тропам, снуют тут беспрестанно круглый год, в одну сторону порожние, в другую – с *кругляком*.

Переобувшись из зимних меховых ботинок в обычные валенки, надев на руки шерстяные вязаные варежки, взяв с пассажирского сиденья картонный ящик из-под мандаринов или апельсинов – с яркой надписью на нём арабской вязью, – покинув после этого машину, Фёдор, в обнимку с ящиком, будто нелёгким, направился в самый конец Линьковского края – к дому, где теперь обитает, и об этом Фёдору известно, у своей сожительницы Луши Горченёвой, кержачки, двоюродной сестры первой жены Фёдора, его бывший одноклассник Николай Безызвестных.

Живёт на самом деле Николай на два дома. Часть своей тихо и размеренно текущей жизни, в которой день от дня и даже год от года мало чем внешне отличается, он проводит у Луши, другую часть, почти равную по длительности первой, – когда у них с Лушей возникают *неудовольствия* и *основательные разногласия*, и она, Луша, его – бесцеремонно, по словам матери Николая, а по мнению Луши, заслуженно – выставляет, как *ишанка бытто*, из дома, – в родительских пенатах. И все в Ялани уже знают: если Коля – днём-то его и там, и там можно заметить – ночует у матери, значит, что с Лушей они *поругались*, если ночует он у Луши, то между ними мир да лад восстановился. И, надо сказать, они, Коля с Лушей, не ругаются. Просто, когда Коля, никого не предупреждая и ни у кого на то не спрашивая разрешения, погружается в *бессовесный* запой, Луша на второй же день этого заурядного события выводит своего сожителя за ворота, поворачивает лицом в сторону его отчего дома и говорит ему, *любезному*, спокойно: «Ступай», – и Коля подчиняется – ступает. *Тихой* Коля, безответный. И, даже выпив, дерзким не становится. Если к кому-то и *привяжется*, так только чтобы *побеседовать* – о том, об этом. А откажись беседовать с ним, не обидится, найдёт кого-нибудь другого, а не найдёт, и сам с собой наговорится, или с собакой, или с курицей, кого где встретит, бывает, что и со

столбом, есть и тому ведь в чём-то посочувствовать. «Трезвый когда, клешшами слова из него не вытянешь, как из литсвяжного сучка костыль, – говорит про него Луша. – А выпьет чуть, бубнит без остановки. Да чё бы путнее, то обо всём, о том, чё видит и не видит... Толкуй с ним, слушай... уши-то идь свои, а не казённые». Выкарабкавшись из запоя, чаще всего по объективной – отсутствие спиртного, ну и, конечно, денег, – а не субъективной – он так решил, ему так захотелось – причине, Коля, без оправданий и извинений, возвращается с повинной головой, и Луша молча, как побитого, без объявления ему ультимата, строгого выговора и без просьбы пообещать впредь так не делать, его принимает. Как день сменяется на ночь, ночь ли на день – так же обычно.

Протиснувшись по узкой дорожке – двум тут едва ли разминуться, но санки можно проташить, – глубоко и твёрдо натопанной, словно прорытой в снегу траншее, пройдя свободно по расчищенным мосткам, приблизился Фёдор к старинному листовенничному, под крутой четырёхскатной крышей, со свисающими с неё снежными козырьками, по-ялански – субоями, дому-крестовику, с новыми разукрашенными мастерски выструганными из дерева и прибитыми, прикрученными или приклеенными к ним *разными птицами, зверями и растениями* высокими воротами с надвратцей двускатной, с резными, но не окрашенными наличниками, с палисадником, заваленным теперь по край штaketника снегом; в нём, в палисаднике, – рябина старая, с остатками уцелевшей от дроздов ягоды, и кедр да пихта молодые – из окон свет их озаряет, снег рядом с ними золотя.

Открыл Фёдор дощатую калитку, с искусно изображёнными, в дереве же, на ней *токующими глухарями*, вошёл в ярко освещённую пристроенной к столбу навеса мощной электрической лампой с отражателем, чисто, до муравы, выметенную от снега ограду, с аккуратно сложенными в крытой глубине её поленицами мелко наколотых берёзовых и еловых дров.

Из конуры, обложенной вокруг, кроме фасада её, сеном, вскинув веки и сверкнув глазами, не поднимая при этом от лап морды, мельком глянула на Фёдора собака, но выскакивать из своего логова и лаять на гостя, чтобы предупредить, хотя бы ради порядка, о его появлении хозяев, не стала. Мороз – только пригрелась чуть, не хочется ей, может, шевелиться. Да и любому бы, коснись...

Метёлкой – голиком, по-местному – не обметая, лишь постучав по очереди, чтобы сбить с валонок мало-мальски снег, ногами о ступеньку крутого и высокого крыльца, Фёдор поднялся на него, зашёл в освещённые сенцы, резко пахнущие квашеной капустой и черемшой, прошагал ими по застеленным самоткаными дорожками половицам, потянул рукой за стылую, обыкновенную железную скобу, открыл обшитую войлоком дверь и, пропустив вперед себя клуб изворотливой, мохнатой будто, изморози, оказался в натопленной прихожей, с ещё шумящей и помигивающей ало из щелей буржуйкой. Изморозь кинулась под стол – там и пропала – совсем исчезла или мимикрировала.

Судя по запаху, картошка варится на печке. В эмалированной коричневой кастрюле. Чайник под боком у неё, словно телёнок подле матки, эмалированный же и коричневый, пускает пар, как будто балуясь.

Николай, в просторных *чунях* – серых пимах с обрезанными голенищами, – исполняющих роль домашних тапочек, с красным махровым полотенцем на плечах, в синих сатиновых трусах и в заправленной в них белой растянутой хлопчатобумажной майке, сидит прямо, как будто на документ собрался сфотографироваться, не отвалившись к спинке и не сгорбившись, на мягком диване, смотрит телевизор, показывающий, но не говорящий.

Волосы и борода у Николая длинные, не стриженные, чёрные, как у цыгана, без седины. Расчесал недавно их – свисают ровно, как приглажены. Усы тоже чёрные, но с терракотовой примесью, словно мелированные или испачканные в яичном желтке. Роста Николай среднего, телом худой, постный, как говорят здесь; живот впалый, как у борзой или у гончей, хоть и никто и никогда, даже тогда, когда он был мальчишкой, не видел его бегающим или быстро

шагающим – всегда вразвалочку, спокойно. Ходит Коля, как говорил про него его дедушка по матери, Фоминых Харитон Степанович, *в штаны будто наклавиши*. Но на работу Коля *тщательный*, за что берётся, делает усердно, не поспешит даже и под приказом, если это может повредить делу.

На свет Николай появился в Ялани. Закончил здесь восемь классов, десятилетку – в Полоусно. С одной четвёркой – по черчению, а остальные – всё пятёрки. Занимал даже первое место на математической олимпиаде, куда, правда, его с трудом смогли вывезти, – так упирался, не хотел. Пообещали дать ему – в любом случае, выиграет он или не выиграет, лишь бы за школу поучаствовал – в начале мая, когда, поднимаясь в верховья, начинает жорко клевать в речках налим, недельный отпуск от занятий, только тогда он согласился. Надо сказать, что обещание преподаватели исполнили – Коля натешил свою душу, просидев несколько бессонных ночей на берегу разлившейся Кемии. В Елисейский педагогический институт готовы были принять его без экзаменов – такие *подавал надежды*. Не оправдал Коля ожиданий – поступать в институт отказался, не выбрал лёгкий путь. Ушёл в армию. Служил в Иркутской области. Узнав, что он заядлый рыбак, выяснив, что не ленивый, не болтливый, сразу же после сержантской учебки десантировали его на заимку, *кафтановскую избушку*, на берег небольшого таёжного притока Витима, где он всю оставшуюся службу, полтора года, ловил для командиров рыбу. Когда те, устав от воинской обыденности, приезжали *расслабиться* – поудить и, больше-то, попить водки, закусывая пойманными и завяленными или закопчёнными Колей хариусами и ленками, – топил им баню, загодя для них заготовив берёзовые и пихтовые веники. А когда они уезжали – мыл посуду и постепенно прибирался в двухэтажной избушке, избавляя её от оставшихся после отдохнувших офицеров пустых бутылок и консервных банок, ну и иного мусора – окурков; чинил сети, плёл из прутьев краснотала мордушки, строил заездок; оружия при нём не было – не охотился. Демобилизовавшись, имея на руках билет на поезд, Коля отправился в Ялань почему-то пешком. Когда у него об этом после спрашивали, отвечал на это Коля так: моча, мол, в голову ударила, вот и подался... но не жалею, добавлял он. Вышел из части весной, в конце апреля, домой пришёл осенью, к Покрову. Кем только потом ни работал и безработным сколько ни сидел – не по своей, конечно, воле, а по всеобщей безработице, – но никуда поступать и учиться дальше не стал – Ялань покинуть не осмелился, не пожелал ли. Любил он с детских лет, чуть ни с яслей, Катерину Голублеву, свою ровесницу. Но без взаимности. Храня в сердце чувство первой влюблённости, никому в этом не открываясь, так ни на ком и не женился. Лет двадцать назад, как раз под Рождество, сошёлся Коля с Лушей, два года спустя после того, как умер избитый охотниками в тайге её муж, тоже кержак. Скоро и дата их совместной жизни. Отмечать её не будут, если и вспомнят. Юбилеи тут не празднуют, как и раньше не было принято, так и поныне не привилось.

– Здорово, – резко, чтобы не выпускать тепло из дому и не запускать в него холод, прикрыв за собой дверь, громко, будто глухому, сказал Фёдор. Сколько-то молча постоял, после продолжил: – А свет-то, ё-моё... У негра кое-где светлее... Чё, ярче лампочку вкрутить не можешь?

Большой Фёдор, грузный. В коричневой дублёнке. На голове ондатровая шапка. Поставив на пол перед собой ящик, шапку и варежки снял, возле двери на полку положил их, после дублёнку расстегнул. Круглолицый, с жёлто-белыми бровями и ресницами, курносый – словно и не Фархад Каримович Загитов вовсе, а потомок новгородского посадника, ушкуйник, – светлорусый, с сединой, но без плешины и залысин, с голубыми, чуть навывкате глазами, и гладко выбрит; одеколоном от него разит – дух по избе распространился.

– Медведь в берлоге, даже отошал. Лапу сосать – не шибко ожиреешь.

– Здорово, – не сразу отозвался Николай, разглядывая вошедшего, узнал его. Ответил после: – Хватает нам, чё надо, видим.

– Месяц не ел, наверное... лежишь тут, увалень.

- Я не лежу.
 - Кроту в норе тоже хватает. Ты же не крот... Звук не работает? – Фёдор кивнул на телевизор.
 - Убавил.
 - Совсем не слышно.
 - До отказа... А чё там слушать?
 - И смотреть... Ты чё, из бани?.. С лёгким паром, – сказал Фёдор.
 - Спасибо, – ответил Николай. – Ворвался так вон... Еле и признал.
 - Богатым буду... Испугался?
 - Фу, задохнусь... Одеколоном – как от женщины...
 - Одеколоном, Коля, женщины не пачкаются. Они – духами.
 - Не знаю чем... так вон пропахнуть... Куда богаче уж... Не испугался, – сказал Коля, поднялся, прошёл к печке, отодвинул на край чайник, вернулся на место; с плеч полотенце так и не снимал, и не снимает. – Так уж не бедный... Как банкир.
 - Ты чё, один?.. Где твоя... баба?
 - Луша?
 - А у тебя их чё, гарем?
 - Моется.
 - Как до луны пешком, мне – до банкира... А ты чё тут, ей спину не потрёшь?
 - Не люблю жару... и париться... По-быстрому.
 - Как кошка.
 - Кошка не быстро – лижется да лижется...
 - Я не про то, как она лижется, а про другое.
 - А-а.
- Говорит Коля медленно, слова растягивает, бережёт их, словно они ему на сохранение кем-то доверены – чужие, он не транжирить обещал и аккуратно с ними обращаться и исполняет.
- Взяв с полу ящик и поставив его на стол, Фёдор сказал:
- На Новый год от Дедушки Мороза... Выпить и закусить. Не доживёт, мне кажется, до Нового-то года.
 - А смотря чё там?
 - Чё там... Бомба!.. Водка да колбаса, консервы да конфеты... Ну, натопил... жары не любит он, не врал бы. – Дублёнку Фёдор распахнул.
 - Тебе так с улицы...
 - Да уж, конечно. Я – из машины, тут пройти-то...
 - Нос отморозить дак и хватит.
 - Сдуру и лом можно сломать... Конфеты-пряники не для тебя, а для хозяйки... Зубы плохие у тебя, совсем испортишь.
 - Водка?
 - Ага. А водка – для тебя.
 - Я их и с детства-то не ел, конфеты эти.
 - И молодец.
 - Зубы все целые... Садись... А у тебя вот, помню...
 - Было дело. Все поменял – на золотые.
 - Эти от сладкого не выпадают?
 - И не ржавеют.
 - Хорошо.
 - Знай только чисти.
 - Чтоб сияли?

– Чтобы красиво было.

– Людоед.

Дымчатый, пушистый кот вышел из горенки важно, запрыгнул на диван бесцеремонно, уселся рядом с Колей, задрал вверх заднюю лапу, пах палевый взялся вылизывать, ни на кого внимания не обращая.

– Не садись, а... – глядя на кота, сказал Фёдор, не договаривает.

– На табуретку вот... присаживайся.

– То-то... Сибирский?

– Кот-то?.. Местный. Принёс от матери ещё... котёнком.

– Сибирский, значит, сибарча.

Сел Фёдор на табуретку – под ним, большим, она пропала, маленькая, сразу, словно и нет её под ним, – осмотрел прихожую, сказал после, глядя теперь на своего бывшего одноклассника:

– Ну, чё?

– Ничё, – ответил бывший одноклассник.

– А как живёшь?

– Нормально?

– Чем занимаешься?

– Ничем... Дрова колю... снег убираю.

– На что живёшь?

– На пенсию.

– На чью?

– На Лушину.

– То-то. Мужик...

– А чё?

– Не стыдно?..

– Стыдно... А где, скажи, тут заработать?

– Скажу. Я к тебе вот зачем, по делу, – так Фёдор начал было и спросил: – Ты чё, не куришь?

– Почему?

– Да табаком, не чувствую, чтобы воняло.

– Ты не привёз?.. Закончились запасы.

– Ну, значит, раком заболеешь... Мне больше думать было не о чем. Нет, не привёз и привозить не собирался. Вредно курить. Ещё наркотики бы попросил... Я, Коля, приехал к тебе не только повидаться и с Новым годом поздравить...

– Жизни учить?

– Тебя-то?.. Поздно... Техника и два балка стоят у меня на Малом Сосновом. Не согласишься там покараулить?.. А то разберут сволочи какие-нибудь на металлолом и вывезут. Их, разных гадов, расплодилось. Там и... Один балок – как караулка, в другом – продукты. И их сожгут, придурков-то хватает...

– Я в подсобники к бандитам и олигархам, – сказал нараспев Коля, – не нанимаюсь.

– Да перестань ты! – Фёдор засмеялся. – Какой я тебе бандит?! И олигарх – тем более!.. Я – работяга, трудоголик.

– Работяга... А лес изводишь, как чужой. Жил же ведь здесь...

– Вот именно... Что ты городишь?.. Не я, Коля, дорогой ты мой, другой кто-нибудь будет изводить. Легче тебе от этого станет?

– Может, и легче.

– Ну конечно... И пилить будут, как бы ты тут ни переживал, пока будет что.

– Не сомневаюсь.

– Я-то хоть что-то оставляю...

– Твоя бы воля...

– И со мной договориться можно. По знакомству... Моя бы воля... Полюбоваться будет тебе не на что? Несчастный. Открытки купишь, виды всякие – заменят... Ельник же вон стоит вокруг Ялани.

– Пока стоит... Всем приказать вам не могу, – сказал Коля. – А идти к тебе в помощники совесть мне не позволит.

– Себе поможешь, а не мне. Помощник тоже... Себе и Луше... Я и другого ведь найду, – сказал Фёдор. – Только свистни, отбою от желающих не будет.

– Свистеть-то – плохо.

– Почему?

– Денег не будет.

– Я же не в доме, не волнуйся... Какая совесть? Ты о чём? В каком веке живёшь, парень? Совесть – забава для дворян, а их давно уже не существует. Для коммунистов. Но те-то те ещё ребята... И тех уж нет, одно название.

– Чай если будешь, наливай.

– Болтают только. Нет. Спасибо.

– Заварка в кружке.

– Не хочу. Совесть... смешно. Кому, чудо ты моё в перьях, – спросил Фёдор, – через миллион, да через тысячу, да даже через сто лет будет дело до твоей совести? И до тебя? Кому?!

– А чё кому-то?.. Самому.

– Тебе?!

– Ну, мне.

– Тебя уже не будет, Коля, испаришься... вон как тот пар из чайника, и улетишься... Где он, ищи его... Жить, если уж родился, надо здесь и сейчас – на потом не перенесёшь. Про совесть хочешь рассуждать – копай сам себе и ложись сразу в могилу. Там времени для этого будет достаточно. И отвлекать никто не станет. Там размышляй до умопомрачения. Лет через сто о нас с тобой, родной ты мой, никто не вспомнит. А после миллиона лет и Земли, может, не будет, и что тогда, где будет твоя совесть?.. Чё не смеёшься?

– Не смешно.

– Лет через сто, да через двадцать... Совесть – придумал её кто-то, поэт какой-нибудь или попы... для того, чтобы из людей деньги выдаивать... Какой смысл, скажи мне, радость ты моя, быть совестливым для кого-то? Если она тебе мешает жить и дело делать... Для тёти Маши, дяди Пети – чтоб им удобнее жилось... И без штанов ходить при этом. Совесть в душе – в кармане пусто. Ну и скажи, кому от этого польза?

– А если кроме дяди Пети и тёти Маши есть ещё кто-то...

– Ты про кого?

– Ну, про кого...

– Про Бога, что ли?

– Ну, про Бога.

– А, ну понятно, песенка знакомая – когда-то первая моя, твоя родня, об этом тоже напевала...

– Она какая мне родня?

– По Луше... Кстати, и Бог у вас какой-то... Чисто еврейская арифметика. Троица... Я тебе дал один рубль, а ты считай, что получил от меня три, я тебе одолжил рубль, а ты мне верни три... Вы бы уж с Богом-то своим определились как-нибудь, один Он у вас или Трое. И беспорочное зачатие. А это как?.. При помощи шприца?.. Чудесным образом?.. А согрешил – покаялся?.. Ты вот в запой уходишь, после каешься?

– Каюсь.

- А потом пьёшь опять?
- Ну пью.
- Пьёшь, как свинья, валяешься... А после каешься опять?
- Опять.
- Бог твой – как Луша, всё прощает...
- Нет.
- Не прощает?
- Милосердней.
- Добрее Луши. Быть не может...
- А я...
- Другая бы тебя давно уж выгнала, а Луша терпит... Ну, Коля, ты же не дурак, в школе учился на одни пятёрки, уж не смешил бы.
- Я сказал...
- Бог твой тебя не очень, видно, жалует. Так и живёшь поэтому...
- Нормально.
- Да уж нормально... Ну, мы друг друга не поймём. Для тебя одно нормально, для меня другое. Мне спорить некогда... Так ты пойдёшь ко мне работать? – спросил Фёдор, по коленям себя хлопнув. – Немного с валенок вон натекло.
- Не знаю... Высохнет.
- Не подотрёшь? Слабо?.. Дождёшься Луши... А ты подумай. Ты же ведь лес валить не будешь, – сказал Фёдор, – и совесть у тебя на этот счёт останется спокойной и кристально чистой, как у настоящего коммуниста.
- Я, в отличие от тебя, коммунистом не был.
- Да это так я... Без тебя свалят. Ты будешь только сторожить, и то не лес, а только технику. Валить начнут, ты уберёшься, со своей совестью под мышкой или, как флаг, её взметнув...
- Я...
- Честное слово – это да, без всякой совести – порядочность, для дела выгодно... Сидеть в тёплом балке, чай попивать да изредка в окно только поглядывать. Возьмёшь с собой туда собаку... Месяц, два, ну, может, три... пока людей, – сказал Фёдор, – не наберу на эту деляну. Аванс прямо сейчас могу тебе выдать... Хватит три тысячи?.. На день, на сутки будешь приходить домой, в бане помыться...
- Я не решил, – сказал Коля. – Ты не дави.
- Чтобы от грязи не прокиснуть... Я не давлю. Решай, – сказал Фёдор. – Третьего января или четвёртого заеду. В Исленьске буду. Как вернусь.
- Заезжай, – сказал Коля. – Выпьем.
- Не пью, – сказал Фёдор.
- Давно?
- Давно. Ты будь готов тогда.
- Не знаю.
- Чтобы узнал, – полез Фёдор в карман пиджака, достал бумажник. – Вот тебе к трём ещё две тысячи... Пять сейчас, а как приеду, дам ещё Луше на конфеты. Луше – чтоб ты их не пропил... Мне ехать надо. Тороплюсь. С женой ещё по магазинам прошвырнуться, пока открыты...
- С Богом.
- Это тебе тут – на готовом, а мне – купи всё – разорение... С Богом. Лучше *удачи* бы сказал. Время – факт неоспоримый, вот оно было, и вот оно сплыло. Всё остальное напридумывали. Бог твой – пощупай ты его.
- И время тоже не пощупаешь.

– Э, время – деньги. Не пощупаешь. Вон на столе лежат, попробуй. Можно пощупать ещё как. Это моё затраченное время. Сиди и щупай...

– А где они, твои деньги, будут через миллион лет?

– Не знаю. Главное – они сейчас при мне.

– Ну, вот и совесть...

– Чудо в перьях.

– Сам ты...

– Деньги, что дал тебе, закончатся, тогда живи на свою совесть – долго протянешь?

Поднялся Фёдор с табуретки – та будто выросла, возникла, – прошёл к столу, положил на него пять тысячных бумажек, сказал:

– Только смотри не потеряй... Я не про совесть, а про деньги, – застегнул дублёнку, подступил к двери, снял с полки шапку и варежки, шапку надел и, пожелав весело, с песнями и танцами, провести праздник, попрощался до скорого свидания, избу покинул.

Вернулась из бани Луша, и они, Луша и Коля, стали ужинать, картошкой с грибами и квашеной капустой, а после пить чай, Коля – пустой, Луша – с конфетами. Водку оставили *до праздников*, и Коля ночью даже к ней *не приложился*.

Снег пошёл, куржак на стёклах окон начал утончаться.

Ночью собаки лаяли в Ялани – отогрелись.

Весенний день в марте (Луша)

Март здесь ещё, конечно, не весна. Не календарно, а по климату. Имя с характером не соотносится. Ни в коей мере. Будто прописан он, месяц март, в одном сезоне, а проживает, получается, в другом. Зима зимою, словно срединная, со всей её крутой, но беспристрастной строгостью.

Если, конечно, не искать в картинках несколько отличий. Найти их можно.

По существу. Только об этом.

Как и июнь – тоже по климату – в этих местах ещё не лето. В июне здесь иной год и до половины вроде бы – как было где-то кем-то и когда-то объявлено и теперь принято считать так во всём мире – летнего месяца, в затенённых углах, в глубоких распадках, ещё и снег лежит, зернистый, ноздреватый, а на завознях и пригонах под накопившемся за зиму навозом, горами щеп или сенной трухой часто и лёд ещё сверкает, изум рудный, и на деревьях листья только-только распускаются, и мало кто уже картошку посадить отважился – земля ещё сырая и холодная: семя в неё – зря лишь сгубить его, не захоронишь. И люди – не мальчишки, конечно, а старики – зимнюю одежду ещё не сменили на летнюю, только на валенки галоши натянули.

Июль тут – лето. По явным признакам. А август – осень. Правда, которую никто не станет отрицать, с которой вряд ли кто-то здесь не согласится.

В марте метели сутками не унимаются, валят с ног всякого, кто осмелится выйти из дому; все норы снегом запечатает, все щели туго им законопатит. То верховые, то позёмкой. Морозы крепкие, бывают и за сорок. Мало чем отличается от января и февраля. Только вот день становится длиннее, а ночь – короче, соответственно. Солнце переходит из Южного полушария в Северное и при движении по эклиптике пересекает небесный экватор. Об этом можно только знать, помня со школы, а разгляди-ка... за парсеками. Отсюда видно только то, что оно, солнце, в каждый свой заход – кажется, преднамеренно, соскучившись, по доброй воле, из любви – выше и выше пробегает над Яланью. Не над самой Яланью, к ней наискосок. День с ночью скоро уравниются, но ненадолго, а после день обгонит ночь.

Всё это в марте.

Ещё отличие в картинке, или оттенок:

Птицы меняются в лесу – одни куда-то исчезают вдруг, другие появляются откуда-то. Как вахта.

И это в марте.

Какой год, Коля, спроси его, может, и вспомнит, но на вопрос, какой нынче на дворе месяц, не говоря уж про число и день недели, вряд ли ответит. Совсем запутался, со счёту сбился. Да и не считал он на самом деле эти дни, как и недели. Не до того ему было. Не отличал порой и день от ночи. Так получилось. Не впервые.

Проснулся Коля, если спал. Если был без сознания – очнулся. Только что. От холода – даже зубами застучал. Что он в балке по-прежнему, а не в аду, сообразил: был бы в аду, было бы жарко. Веки ему, пока он спал, как будто склеил кто-то ради смеха – еле их разодрал, нужно моргать усиленно – чтобы они не слиплись снова. Моргает Коля, в который раз уже за более чем двухмесячное пребывание здесь отмечая, что потолок в балке дощатый, обит вагонкой.

Полежал сколько-то, не двигаясь и только всматриваясь в полумрак, – пустым плетёным полипропиленовым мешком завешено оконце. И лампа не горит, в ней керосин, наверное, закончился.

Горела вроде. Зажигал... Когда вот только?

И подумал: «Или задул кто... это – может».

Вперёд, в будущее, ходу нет – стена глухая заслоняет. Ладно. Туда не надо пока Коле. Попытался он вспомнить, что было вчера, – так и не вспомнил. И дальше, на несколько суток

назад, тоже не заглянуть – в густом тумане будто скрыто. Только сейчас, только сегодня – в него, как в точку, собралось всё. Из этой точки надо как-то выпасть – чтобы на линию попасть.

«Я не гасил, так это точно».

Сдёрнул Коля с оконца мешок, рукой до него дотянувшись, – был не прибит мешок, висел на гвоздиках, едва держался.

Не резко с улицы ворвался свет. Плавно рассеялся, ровно в балке на всём распределился, матовый. Стёкла оконца в плотном куржаке, ещё и снегом залепило их снаружи.

Вылез из-под красного, в пятнах мазута или солидола, с торчащими из него, как из собаки в линьку шерсть, клочками ваты, стёганого одеяла. Валенки на ногах – спать, значит, падал, не разувшись. И в телогрейке – значит, не снимал. Шапка была на голове – куда-то задевалась.

Борода смятая, волосы на голове сваялись – колтунами. Себя не видит, хорошо.

И хорошо, не видит его Луша...

Спустившись с топчана, встал неожиданно на что-то мягкое... Чёрный овчинный полушубок; сверху лежал, наверное, на одеяле, свалился на пол...

Чуть перестала голова кружиться, подался к выходу. Дошёл.

Толкнув коленом и рукой одновременно пристывшую к окосячке дверь, настезь её открыл. Тут же зажмурился.

Белым-бело всё – ослепительно.

«Ох, ну и это...»

Слышно, в березняке вороны громко каркают – одна на всех, все на одну ли, у них бывает, или все вместе на кого-то постороннего; ронжа трещит на всю округу – просто так или о чём-то.

«Как заполошная».

Далеко, за всю зиму не замерзающим ручьём Малым Сосновым, на сопке, дятел часто-часто, как у него и голова-то не отвалится, не оторвётся, клювом колотит по сушине – в той, полой, гулко отзывается. На ёлке рядом белка шелестит когтями по стволу – не обнаружишь, – тут же зацокала, кого-то испугавшись. В согре, вокруг которой и намереваются валить оставшиеся после сорокалетней давности, ещё советской поры, вырубок зрелый листвяг и стареющий ельник, треснул сучок, отправив хлётко эхо во все стороны. Может быть, лось сломал его, а может – росомаха.

Глядя через прищур, как близорукий, смирил Коля глаза с ярким светом, сразу их полностью не открывая, из-под ладони осмотрелся.

Курёха-заметь, оббегая ловко комли, между деревьев шарится, что потеряла будто – ищет и тут, перед балком, ещё в октябре, до снега, трактором расчищенную от мелкого осинника и ольшаника площадь своими многочисленными шершавыми, как абразивная бумага, языками выскребает.

Солнце над лысой сопкой, как на ней, ещё чуть-чуть – и оторвётся – хоть и не греет, но лучится уже колко. Небо синее, безоблачное. Разделено оно, небо, пополам кучерявым следом от пролетевшего не так давно турбореактивного самолёта – с запада на восток. След расплзаться уже начал, и, изгибая в коромысло, сквозняк небесный сносит его к югу, скоро очистит небо от него.

Снегу немало намело ещё и навалило с того раза, когда Коля – вчера, позавчера или третьего дни – последний раз выбирался из своей караулки на волю. Два трактора трелёвочных – и их уже почти не разглядеть, – как горки, высятся, с них хоть катайся на санках. Бульдозер с высоким, но не широким ножом едва желтеет запорошенной кабиной. Камаз с тёмно-зелёной кабиной, лесовоз, без прицепа, – осенью ещё сломался, *мост задний полетел*, так тут его и бросили, – стойки торчат, колёса скрыты снегом полностью. Никто к ним – ни к тракторам, ни к лесовозу – не подбирался, чтобы разобрать их на подъёмные детали, загрузить *воруйкой* на свой транспорт, увезти в город и сдать там на металлолом.

Верного нет. Даже следов его не видно, нигде поблизости не натоптал. То, как волчок, обычно крутится тут. И ночь проводит под балком, пусть ненамного там теплее, хотя б не дует. Белку облаял бы, будь он где рядом, не пропустил бы. И треск сучка бы не оставил без внимания...

Или, оголодав и не дождавшись, когда выйдет хозяин и накормит его, подался промышлять в тайгу – что вряд ли, чтобы в снегу-то утонуть? – или домой, в Ялань, сбежал предательски – что тоже вряд ли – до сего дня он своей кличке соответствовал.

– Куда девался?

Звать не буду.

На крылечке в две невысокие ступеньки, возле двери, опрокинута алюминиевая сорокалитровая фляга. Тут же стояла и другая, точно такая же, – от той в снегу остался круглый отпечаток.

На свободном от снега, обметённом вьюгой, днище фляги, шевеля антеннами-усами, сидят две большие коричневые бабочки с чёрными *глазами* на крыльях. Одна подмяв другую – спарились.

– Нашли, где это...

В содру с горы, поросшей красноталом, скатился отряд лыжников в белых маскировочных халатах, с карабинами, с откинутыми штыками, за спиной. Первый – командир, наверное, – перед тем как оттолкнуться и пуститься вниз, глянул внимательно на Колю и палкой лыжной погрозил: язык держи, мол, за зубами.

Финны?

– Куда их леший потащил?

Спецназ какой ли?

Сходил Коля, набрав в валенки снега, за трактор – там туалет себе устроил сразу же, как сюда прибыл.

К балку вернулся.

Сидят бабочки на фляге, те же – не улетели, и занимаются всё тем же.

– И нипочём мороз им... как собакам.

Зашёл Коля в балок. В нём не теплее, чем снаружи. Сев на чурку и сняв по очереди валенки, снег из них вытряхнул на прибитый к полу возле буржуйки лист жести. В балке чёрт ногу сломит – беспорядок.

– Не только чёрт, и самому бы...

Вроде и гости были – никого. Что были – точно, не приснились. Флакон, Электрик. И сожительница его, Электрика, Рая. В ушах звенит ещё – всё щебетала.

– Когда убралась?

Заглянул Коля в стоящую около стола флягу. Что-то осталось в ней – кренить не стал её, чтобы – *не взбалмутить*.

Залез во флягу бурой от бражки эмалированной кружкой, зачерпнул осторожно. Руки трясутся.

Куриц как будто воровал.

Постоял минуту, глядя теперь в кружку. Выпил.

– Гуща. Как лёд...

Больше замёрз ещё – весь передёрнулся.

Отёр усы, бороду и губы рукавом телогрейки. Поставил кружку на открытую крышку фляги.

Красный, с чёрно-зелёным перламутровым хвостом, с когтями, как у коршуна, с фиолетовыми, обмороженными, зыбкими бородкой и гребнем петух, бряцая шпорами, припрыгивает на столе, словно игрушка на симах, пружинисто. Квохчет взахлёб, клюёт яростно зачерствевшую корку хлеба – крошки, как искры, разлетаются.

– И закусить вот.

Отнял Коля у петуха корку, петуха согнал со стола, отломив от корки долю, сунул в рот – осторожно, чтобы не сломать об неё, стылую и засохшую, зубы, разгрызает.

Принялся петух, подлетая и кукарекая, биться в потолок. Забился после под топчан, затих там.

– Надо в Ялань идти, то оно чё-то...

В бане помыться хоть да это... Петух тут этот...

В конце сентября прошлого года забросил Фёдор Каримович Мёрзляков, лесозаготовитель, сюда, на Малое Сосново, на одну из многочисленных своих делян, трёх вальщиков, наказав им строго-настрого, чтобы они спиртным не увлекались. Те *слово дали*: мол, не будем. Было у них что с собой, не было ли, не проверил. Похоже, было. Ну а как? Начало надо же отметить... Сразу с собой не привезли, после с водителями заказать не трудно – *свои ребята, не откажут*. Один парень, лет двадцати пяти, на следующий же день, накурившись чего-то или наглотавшись, ногу пилой себе едва не *ампутировал*. Отвезли его, дико кричащего от боли, плачущего и кое-как чем можно было перевязанного, в город на проходящем с урочища Большое Сосново лесовозе. Теперь уже, наверное, и выписали из больницы, с ногой вот или без ноги, Коля не знает. У другого, тоже молодого парня, только весной демобилизовавшегося со срочной службы, *очумевшего после двухмесячного беспробудного загула* ещё перед заездом на деляну, как результат, последствие, случилось что-то вскоре с головой: ушёл от балка, к ручью за водой, так ли куда-то, прогуляться, и заблудился – нашли его через две недели возле Маковского, за шестьдесят километров от деляны, еле живого, – местный охотник обнаружил и вывел в Маковское. У третьего, сорокалетнего мужика, желудок сильно разболелся, как-то добрёл он до Ялани, яланская фельдшерица вызвала машину «скорой помощи», и доставили его в елисейскую поликлинику, дня через три отправили в Исленьск. Рак у него, как после Коле сказал Фёдор, выявили, недолго жить ему, дескать, осталось. С этой бригадой у бизнесмена не получилось, другую будет набирать. Не так-то просто это сделать. Большинство парней и мужиков допенсионного возраста вербуются на *севера*, в вахтовый посёлок Ванкор в частности, – не соблазнишь их малыми деньгами. Нашлись бы, конечно, желающие *через не хочу* – себя и семьи кормить надо, *не грабить же или не побираться Христа ради* – пойти и в лесорубы. Идут к кому-то. Да Фёдор вот *не балует людей зарплатой*.

Пятого января, ранним утром, затемно ещё, привёз Фёдор сюда же, на пустую лесосеку, Колю, вытащив его, тёпленького, из постели, опохмелиться дома не успевшего, показал, что охранять, где ему жить, где можно взять дрова и где находятся продукты. Колю – вручив ему бутылку водки *на поправку* и попросив его не напиваться до беспамятства, то есть до чёртиков, – оставил, а сам уехал – *дел по горло*.

На Старый Новый год, под вечер, с песней «Вот кто-то с горочки спустился, наверно, милый мой идёт...» и с тремя бутылками неразведённого спирта, приобретённого в долг у яланского *камирсанта* Колотуя, под залиvistый дружелюбный лай Верного, обрадовавшегося появлению здесь, среди почти космического одиночества, знакомых ему людей, нагрянули из деревни к Коле его приятели: Флакон, Электрик и сожительница Электрика Рая. Рая дня через три ушла в Ялань, протопить в доме печь. Флакон, *шарясь* от похмельной тоски и безделья да по привычке воровской закоренелой, обнаружил в балке, в котором хранились продукты, мешки с сахарным песком и предложил тут же товарищам поставить бражку. Коля промолчал, а Электрик обрадовался предложению и поддержал эту задумку. Коле осталось только согласиться. Объявили ему товарищи, что пойдут в Ялань, через неделю, мол, вернутся. Не обманули. Вернулись дней через пять с пачкой дрожжей, с тремя трёхлитровыми банками забродившего смородинового варенья и трёхлитровой банкой молотой черёмухи. Освободили от круп, макарон, разных приправ и вермишели шесть алюминиевых фляг и завели в них, натас-

кав с ручья родниковой воды, бражку. Опять ушли в Ялань – делать, мол, без спиртного нечего им, скучно, заняться нечем, – опять пришли дней через пять и жили чуть не до сих пор тут.

Ушли – раз нет их здесь. Когда ушли, не помнит Коля.

– Дня три назад, наверное. Не позже. Следы бы были... занесло.

Поискал Коля – на столе, на полу, в чугунной печке, в карманах пиджака и телогрейки, – что покурить бы. Даже окурков не нашёл.

– Всё, чё ли, высмолили?

Всё.

– И ни чинарика...

Вот, ёлки...

Бочком пристроившись, на чурке посидел понуро – перед дорожкой. Встал. Николе в угол помолился. Шапку, перевернув всё на топчане, отыскал, надел и вышел из балка. Теперь уже глаза не жмурия.

Домой направился, в Ялань.

По проделанному раньше «Буранами» – здесь и рыбаки, держа путь на Таху или Тью, чтобы поудить подо льдом хариусов, и охотники, и Фёдор ездил, здесь же пешком и гости к Коле проходили, – но замётённому уже пути побрёл на торную дорогу, по которой возят лес с Кети и Сочура.

Нескоро выбрел, хоть и близко – метров четыреста, не больше.

– Не тротуар... Не по асфальту, – Коля себе сказал, других тут нет.

Постоял немного, отдышался. Полюбовался красным утром. Нечего покурить – одна беда вот. А так-то ладно...

– Носки, растает там, промокнут...

Да и штанины... неприятно.

Перед тем как отправиться дальше, присел на отвал и, сняв валенки, опять набившийся снег из них вытряхнул – теперь уж прямо на дорогу.

Сказал, обувшись:

– Так-то лучше.

Неделю – обычно слышно от балка их, когда они, гружёные, из лога выбираются надсадно, – лесовозы не ходили. Забило всё, перемело. На днях – скорее всего, только вчера – прошёл грейдер, прочистил. Туда-обратно. Теперь отглажена дорога – глаз веселя, блестит на солнце. Как намавленная.

– Мороз и солнце, день чудесный...

Пушкин.

Идёт.

– Не день пока ещё, а утро.

Раньше здесь, с той и с другой стороны, от Ялани до Маковского, на бывшем волоке, лес стеной стоял, с узким прогалом только в небо. Теперь далёко всё проглядывается – так проредили.

– Как враги... Ялань от Маковского скоро будет видно...

Или Москву.

Не дошёл ещё и до Петровой Слани, не прошёл и километра, замечает, лежит на обочине дороги что-то, припорошенное снегом. Рядом, на гребне отвала, вороны скучились, сидят.

– Как головёшки... разбросал кто.

Опасаясь приближающегося к ним путника – мало ли у того что на уме, – сорвались вороны с места, отлетели чуть и разместились тут же, подогнув ветви и осыпав с них радужно сверкающую изморозь, на раскидистой берёзе – оттуда зорко наблюдают. Как будто думают – молчат.

– Кто-то из шоферов фуфайку старую, – пар выпуская изо рта, вслух рассуждает Коля, – одеяло ли грязное и негодное выбросил из машины... Может, продукты там завёрнуты какие-то, остатки... если уж эти... – глянул на ворон. – Откуда-то ведь вот учуяли. Не из Ялани? Не из Маковского?.. Мои там каркали – тоже не близко... Их различия... Я, не темнело б это там, так и внимания не обратил, прошёл бы мимо... Вот, человек и птица, разница какая. То же – и зверь, и человек... У человека нюх, у них чутьё. Да и умом они нас крепче – столько вон глупостей, как мы, не делают, и сук не рубят под собой... Да пусть и я вот, представитель, меня возьми вот...

Чтобы поговорить, Коле не нужен собеседник. Он, когда нет напарника, и в шахматы играет сам с собой, даже без шахматной доски, – воображая. И в пашки. Мало того, и в волейбол. А на рыбалке он, когда один, вовсе становится словоохотливым. Хоть и один, не одинокий. С речкой, и с поплавком, и...

Мир же вокруг тебя – иди и... разговаривай.

Так рассуждал пока, продвинулся немало, хоть, как всегда, он и теперь *идёт, не потопит*. И много он, Коля, только что за один раз и без перерыва, может быть, и впервые в своей жизни, слов произнёс – утомился; к тому же губы терпнут на морозе и начинают плохо подчиняться – как каучуковые, не родные.

Подходит. Смотрит.

Торбас лосиный, с войлочной подмёткой.

Пихнул ногой его – тот не простой, но есть в нём что-то, и тяжёлое, или сидит на чём-то, не свободный. Ногой же снег разгрёб. И видит:

Человек.

Ещё раз ткнул ногой и чувствует:

Твёрдый, как дерево. Замёрзший.

– Ох, ё-моё...

Это не шутки.

Едет со стороны Ялани лесовоз, гремит прицепом. Снежная пыль за ним вздымается, облаком в воздухе висит, не опускаясь.

Затормозил резко возле Коли, остановился.

Стекло водитель опустил, спрашивает:

– Тебе куда? В какую сторону?

– Да это... Тут вот... – сказал Коля. Едва рукой махнул, указывая.

– Чё там?!

– Хм...

Выпрыгнул из кабины водитель. Пружинистый, как на рессорах будто, а не на ногах, подвижный, резкий. В кожаной, мехом наружу, жилетке, в тёплых ватных стёганных штанах махорочного цвета и в толстом сером свитере с глухим, под самый подбородок, воротом. В унтах. Без шапки. Лет тридцати, уже с залысинами. Ел что-то – рот ладонью вытирает; не прожевал ещё – жуёт.

– Чё это? – спрашивает.

– Человек, – говорит Коля.

– Человек?!

– Был. Замёрз. Мёртвый.

– Ты чё?! Чё, точно, что ли?

– Точно.

– Вот, бляха-муха!.. А кто же это, интересно?

– Спроси его.

– Сейчас в тайгу-то кто пойдёт... Охотник только.

– Может, лыжник?

– Лыжник?
– С карабином...
– Ты его видел?
– Показалось.
– Может, в отвале где и карабин?
– Да это так я... Те в халатах.
– Для маскировки?.. Перелопатить снегу сколько надо, чтобы найти-то... Где он сидел, когда замёрз, или лежал, когда уснул, там или там, откуда грейдером его сюда приволокло вот... Много просеять снегу надо.
– Весной оттаёт... если тут.
– Когда милиция приедет. Искать же будут.
– Он, может, был без ничего.
– Ну, разберутся... надо будет, – говорит водитель. Уши потёр себе ладонями. – После кабины-то... не жарко.
– Наверное, – говорит Коля. Уши под шапкой у него – не мёрзнут, он и не с пылу – пообвык.
– Смотря, конечно, кто тут это, – говорит водитель. – А то и по хрен ей, милиции, замёрз, и ладно... Какой бездомный, может, бич, и не почешутся... Если охотник, где-то и ружьё.
– И патронташ бы был... если охотник.
– И тот тут где-то.
– И рюкзак.
– Ну, и рюкзак, не без него же... Растащило... Ох, ёлки-палки, кто же это?! Ну, кто бы ни был – человек.

Сидят вороны на берёзе, не улетают. Заинтересованные. Между собою не бранятся. На людей смотрят внимательно. Будто в то, о чём те говорят, вслушиваются, слово бояться пропустить – не шелохнутся. Всё они знают, но не скажут.

Глядят Коля и водитель на мёртвого – глаз от него не отвести. Как от воды бегущей, от огня ли.

На сопке где-то ухнула лесина, рухнув, – перестояла. Эхо, как птица вспугнутая, крыльями захлопав, полетело, на дне распадка улеглось; совсем утихло – зарылось в снег, наверное, – чтобы никто его уже не потревожил.

Два ворона, один от другого метрах в десяти, словно ведущий и ведомый, хрипло и изредка между собой перекликаясь, прямо, как по начертанному курсу, проследовали в небе голубом в сторону розового горизонта. Им до того, что на земле творится, нет будто дела. Похоже, так оно и есть – вид у них больно отрешённый.

Пошёл к машине водитель, поднялся на подножку, дверцу открыл, достал из бардачка строительные перчатки, возле машины их надел, назад вернулся. Говорит:

– Надо хоть посмотреть... Ты тут, я тут... Давай-ка... это...
– Обувь не та, – говорит Коля. – Штаны, как у Флакона.
– Флакон?
– Да был тут у меня.
– А ты?..
– Я сторожу здесь, на деляне.
– У Мерзлякова?
– У него... И не Электрик.
– А это кто?
– Да был тут тоже.

Взявшись вместе за рукав и за полу когда-то белого, заношенного полушубка, встряхнули человека. Снег с лица его скатился. Как со стеклянного. К нему снежинки не пристало. Светло-

каштановые, с проседью, волосы у него, у человека бывшего, на голове в косички смёрзлись – дыбом торчат, как ирокез. Серая кроличья шапка валяется тут же и тоже смёрзлась – словно пушной зверёк, в петле или в капкане околевший. Голова ещё недавно хозяина этой шапки, когда он был ещё живой, была, наверное, вспотевшей – решить так можно. Щетина пегая и редкая, как у монгола, только на скулах и на подбородке. Веки сомкнуты, без прощелины. Один глаз выпуклый, другой чуть вмят. В ноздрах, как чопики, бледно-зелёный лёд – можно подумать: мозг как будто выдавило –

Воздря.

– Ты его знаешь? – спрашивает водитель.

Рассмотрел Коля будто прозрачное лицо замёрзшего и признаётся:

– Знаю.

– Кто?

– Яланский, наш.

– А кто такой-то?

– Шура. Лаврентьев. Пчеловод.

– А-а, – говорит водитель. – На Рыбной. Пасека там. Знаю. Мы позапрошлой осенью оттуда лес возили, с сопок... Росомаха.

– Его потом уж так прозвали.

– Слышал. За воровство...

– Да, по избушкам шарился... по путикам чужим.

– Во, наша жизнь, не знаешь, где и как закончишь... Отшарился, – говорит водитель. –

Надо сообщить... в милицию.

– А как?

– Бог правду видит...

– Он видит всё.

– А ты в Ялань?

– В Ялань.

– Есть телефон?

– Мне он зачем?

– Понятно. На Медовом берёт мобильник, как поднимусь, оттуда позвоню, связь если будет. Зять, муж сестры, там, в уголовном розыске... начальник.

– Ладно, – говорит Коля.

– Может, его уже и ищут, – говорит водитель.

– Кто?

– Мало ли...

– Сестра?.. Та в городе.

– Сестра.

– А ей-то чё?.. Почти не видятся... Не виделись, – говорит Коля. – Он круглый год жил тут, в лесу. В Ялани был, наверное... ходил туда за спиртом, – предполагает.

– Может, – предполагает и водитель, – туда ещё, а не оттуда? Туда – по этой стороне...

– Не по дорожным правилам он – не машина...

– Да, конечно.

– Трезвый бы был тогда, туда-то ещё шёл бы и не замёрз бы.

– Ну да, в лесу-то где бы он достал...

– Белок добыл, дак, может, продавал?

– Думаешь, пьяный был?

– А как?

– Ну, может... Значит, в Ялань?

– Кто, я?.. В Ялань.

– Так ты идёшь пока, я догоню, – говорит водитель. – Если загрузят меня быстро. Можешь со мной проехать, в кабине хоть тепло, не пёхом... тут до Ялани ещё шлёпать...

– Не, я пойду, – говорит Коля.

– Смотри, как хочешь, – говорит водитель. – Мы его зря, наверное, побеспокоили... пошевелили.

– А как узнали бы?

– Да, точно, так бы не узнали, – говорит водитель. И говорит: – Сел отдохнуть, наверное, уснул и околел.

– Наверное, – говорит Коля.

– Снегу-то было – завалило, и не заметил грейдерист.

– Похоже.

– А чё там выгреб... может быть, бревно. Ему ж не видно...

– За ножом-то...

– Вот она, жизнь... Дышал ещё недавно, пил...

– Ещё не старый.

– Даже жутко... Ну чё, давай.

– Давай.

– Мне ехать надо... Голову снегом, что ли, закидать... То вон, готовы... – говорит водитель, кивая в сторону берёзы. – Глаза-то выдолбят.

– Один не выдолбят... Стекланный.

– Стекланный?... А, вставной. И тот уже застекленел...

Голову мёртвого снегом забросали.

– Не задохнётся... Место заметное – найдут, и я поеду покажу где. Сегодня рейс-то ещё сделаю, – говорит водитель. – С зятем сначала созвонюсь... Тянуть не станут: вдруг убийство.

– Да кто его тут... Сам замёрз, – говорит Коля.

– Ну, разберутся, – говорит водитель.

– Может, и разберутся, – говорит Коля.

– Надо им будет, докопаются... Кто, может, тюкнул по башке.

– Да это вряд ли.

– Из-за ружья, из-за пушнины.

Пошёл водитель к машине, постучав унтами по колесу, поднялся в кабину, дверцу захлопнул. Коле кивнул через стекло: ну, мол, пока.

Кивнул в ответ ему и Коля.

Лесовоз, опять подняв и потянув за собой, словно привязанный верёвкой за фаркоп, клуб снежной пыли, звеня цепями на стойках и гроыхая слегка вихляющим по дороге прицепом, покотил дальше. Коля в Ялань пошёл, куда и следовал, цель назначения не изменилась, не поменялся и маршрут.

– Может, что и ко мне шёл? Не исключаю, – сказал Коля. Себе, наверное, или водителю – чуть с опозданием, заочно. – Да не дошёл вот.

Метров сто, пожалуй, Коля прошагал, не меньше. Оглянулся вдруг. И видит:

Шура, согнувшись в поясе, поднялся, посидел, одумываясь будто, на ноги встал, снег рукой охлопал с полушубка, натянул на голову кроличью шапку, не разминая её, скукоженную, и не приглаживая вздыбленные смёрзшиеся волосы, в три прыжка дорогу пересёк, через отвал проворно перебрался, в распадок стал, ссутулившись, спускаться – пропал из виду в мелком пихтаче. На Колю даже не взглянул он.

– Йети, – Коля сказал, и дурно ему сделалось, сердце сдавило, как в тисках, в глазах поплыло мутными кругами. – Опохмелиться бы, то... плохо.

Да, чё-то это...

Постоял сколько-то. Пока сердце не отпустило и в глазах не посветлело. Дальше пошёл.

– Чё-то не то оно, а чё-то... но.

Идёт Коля, теперь уже не оглядывается. Тень его – перед ним, на ярко-белом – фиолетовая, двигаясь заодно с ним, с шага не сбивается, только становится короче и короче. Можно заметить это, если наблюдать. Тень Коля видит, но о ней не думает.

Солнце всё выше поднимается, лучами тыча Колю в спину, не пригревает. За солнцем тоже не следит он. Оно на всём, осознаётся это без надзора. Дорога скользкая – ступает Коля осторожно.

Шура на памяти – как влез, никак пока не выдворить – таким и в жизни был, навязчивым.

Назойлив, чё там, Господи, помилуй.

Шура был старше и учился в школе на пять классов впереди Коли, вместе с Истоминным Олегом, который Колю, тогда ещё совсем маленького, лет шести или семи, червей копавшего ему сначала, к рыбалке после пристрастил. Тихим был Шура в детстве – *маменькин сыночек*, – с озорниками не водился. Из дома – в школу, из школы – домой, ни шагу в сторону, как делали другие. В играх мальчишек не участвовал. Ни с кем не спорил и не дрался. Закончил десять классов, последний год, когда десятилетку в Ялани закрыли, учился в Полоусно. Там уже стал он более общительным. Но, как другие, с девушками не дружил – то ли их презирал, то ли, скорее всего, стеснялся. В армию его не призвали по какой-то причине, не сознаётся по какой. Устроился он помощником пчеловода на пасеку, где работал литовец Вилюс, бывший *лесной брат*. Вилюс, когда им, отсидевшим тут в лагерях и оставленным здесь на временное поселение, было разрешено, вместе со своим братом Николаем, уехал на родину, не ужился там, видимо, назад вернулся, опять же вместе с братом, но на пасеке работать больше не стал, оформился на пенсию; умер уже он, Вилюс, и брат его умер, в Елисейске оба похоронены. Шура, как и водится среди пчеловодов, начал варить медовуху, сам поначалу и не пробовал, только гостей угощал да с кем-нибудь за что-нибудь рассчитывался ею, *как валютой*. Потом и сам *вошёл во вкус*. Правый глаз себе затвором переделанной им самим винтовки – *пороху в патрон переложил с похмелья* – вышиб, искусственный ему вставили, в Исленьск ради этого ездил. С головой у него вскоре что-то, от непрерывной пьянки или от одинокого житья-бытья в тайге, а то и после удара в глаз затвором, стало неладное происходить. Наслушавшись в последние беспокойные времена на пасеке радио, возомнил Шура себя агентом Масхадова и приятелем Басаева. Чип будто в голову ему инопланетяне, забрав его однажды с пасеки на свой *неопознанный* корабль, по просьбе чеченских боевиков вмонтировали, после чего на связи с террористами стал находиться Шура постоянно, мол. Приходя из леса в Ялань, чтобы купить что-то или что-то продать, начал он угрожать своим односельчанам, что всех их, пригласив своих братьев-«духов», изнасилует (женщин и девушек) и уничтожит (поголовно). Или прилетит на каком-то никому неведомом буфатлоне и разбомбит Ялань вдребезги, яма останется лишь от деревни.

– Ну, чё попало нёс, – сказал Коля. Идёт. Шура из памяти не выпадает.

Как ненормальный.

Яланцев называл Шура – находясь в нетрезвом состоянии, конечно, – уродами или гоблинами. Я наново, кричал, одурманенный купленным у Колотуя спиртом или водкой, приобретённой у родной сестры Колотуя Натальи, перевоплотился от Святого Духа и от жены генарала Дудаева, мол. По заданию чеченского военного штаба расшифровал, дескать, свой сложный геном, мне в Турции сделали биопластическую операцию: я теперь вижу одним глазом через стены – каким, своим или вмонтированным, не уточнял, – другим, как филин, в темноте, слышу в ультразвуковом диапазоне, как мышь летучая или дельфин, вживлённые, мол, в мою голову чипы считывают все радиосигналы, которыми кишит эфир, и всю информацию со всех мировых компьютеров. Я бисексуал и кол забил на всех яланских баб и девок... старух – тем более... Вы, недоноски! Да вы хоть поняли, чё я сказал вам?! Ну и так далее, тому подобное.

Поглядит на Шуру, проходящего мимо дома, буянящего и непонятно что орущего, иной раз Колина мать, Галина Харитоновна, головой покачает и скажет: «Вот такие мы бываем. Отец-то тоже был у них маленько чокнутый, иначе в петлю не залез бы».

Принесёт летом в деревню берестяной бочонок мёду – а когда была ещё на ходу у него танкетка, не сгорела, возил на ней мёд Шура флягами, – если был сбор и что-то накачал он, продаст недорого, *со скидкой*, купит у Колотуя дешёвого спирту, погуляет в Ялани, пропьёт все вырученные за мёд деньги, к себе на пасеку подастся, с *зачаткой*, правда, на дорогу, чтобы идти было не скучно. Не видно и не слышно после его какое-то время. В Ялани тихо. К сестре в город иногда, когда дел нет на пасеке, уедет. Та его скоро выгонит, *не терпит пьяных*. Кто их терпит? Шляться пустится Шура по злачным местам Елисейска, там объявлять себя чеченским мстителем. Нарвался как-то на отвоевавших в Чечне ребят, те ему бока намяли и лишили его последних зубов, ладно, что не убили. Прележал Шура ночь, выброшенный из пивной, в сугробе, но не умер. Горел в танкетке – костёр развёл в ведре в ней, грелся, – *спину и задницу поджарил хорошо себе, как гренку*. Протыкали его насквозь, ниже грудной клетки, длинной отвёрткой. Как на собаке, на нём заживало. Мёду нет, принесёт прополису, воску или свеженагнанного дёгтю, душу вынет, пока ты у него не купишь или, рассердившись, в шею его из ограды не вытолкаешь. Уйдёт, грязно ругаясь и обещая дом спалить того, кто его выставил. Но забывал про обещание, откладывал ли на потом исполнение. Раньше этого не делал Шура, не было за ним замечено такого – стал он похаживать по окрестным таёжным избушкам, когда хозяева отсутствовали, воровать керосин и продукты, батареи к радиоприёмнику, сами приёмники, снасти охотничьи и рыболовные, проверять на чужих путиках ловушки и капканы. За что и прозвали охотники его Росомахой. Но застать его на месте преступления пока вот так и не могли.

– Уже не смогут.

А то давно бы уже он, Шура,

гнил где-нибудь под корневищем, в речке ли рыбу бы кормил.

Коля когда-то с ним охотился.

– При советской ещё власти.

На лосей и на пушного зверя. Сезона два пробродили они в междуречье Рыбной и Песчанки, где у Шуры был участок. Разлюбил охоту Коля – убивать неумоготу стало. Луша ему сказала как-то: «Чудной человек. А чё рыбачишь, рыбу-то не жалко?» – Коля ответил: «Жалко. Но Господь, Он не охотился, но рыбачил и рыбакам ловить помогал. А я Его не милосердней?» – «Господь, Госпо-одь, сравнился тоже... А жить-то как, есть-то чё будем?» – спросила Луша. «Будет день, будет и пища, – сказал Коля. – Проживём, Бог даст, как-нибудь». Годы тогда пошли уже *неурожайные*, и в магазинах ничего нельзя было купить свободно.

– Лишь по талонам.

И по талонам чё там... тока водку.

Но вот прожили.

Как-то, в один из коротких декабрьских дней, когда они, набродившись с ружьями на лыжах по тайге, пришли к заходу солнца в избушку и начали варить собакам перловую кашу, а себе – суп из рябчика, рассказал Шура Коле:

«Проверяю пасеку. Где – матка старая, смотрю, где – молодая. Перед сезоном, подготовить. Жаришша, пекло несусветное. Хлопат меня кто-то сзади по плечу. Оборачиваюсь. Чёрт, на тебе. Как ты сейчас вот, совсем рядом. В костюме сером, как мужик. Из нагрудного кармана простой или химический карандаш и авторучка золотая торчат. Под пиджаком – тело голое, на теле – шерсть огненно-рыжая. И вот глаза какие-то такие... Сквозь них сосняк – стоял за Рыбной, после снесли его под корень – и небо краем видно было. Говорит мне: Шура, дорогой ты мой товарищ, хватит работать, зной такой, мол, иди в избушку, отдохни, зачем изматывать себя так. А кто, милый ты мой, за меня, спрашиваю, пасеку будет проверять? Я, говорит. А ты,

спрашиваю, чё, в пчёлах, что ли, разбираешься? Я, говорит, Шура, и имя знат моё откуда-то, во всём разбираюсь, а в пчёлах и подавно. Ладно, говорю. Пошёл я в избушку. Кружку холодной медоухи выпил, сел возле окна, наблюдаю. Трудится чёрт, и нипочём ему жара. Всё вроде, вижу, правильно делает. В улей дымит, как полагается. Пчёлы не шибко, вижу, сердятся, роем не кружатся над ним, его не жалят. Я ещё кружку выпил медоухи. Прилёг под полог отдохнуть. Будит меня он на закате. Сели мы с ним за стол. Выпьешь? – спрашиваю. Нет, говорит, не пью. Мясо, говорю, есть, сохатина, отведаешь? Нет, говорит, дома поел, сытый. Давай, говорит, Шура, подпишем договоришко. Какой? – спрашиваю. Да, несерьёзный. Я, мол, тебе хороший медосбор нынче гарантирую, а ты мне, дескать, душу свою под это завещаешь. Подумать надо, говорю. Мне, говорит, в одно место сбегать сейчас срочно требуется, в полночь приду, а ты тут думай. Ушёл. Выпил я кружку. Ещё одну. Сижу думаю. И думаю: а чё мне она, душа эта? Я её, один чёрт, никак не чувствую, есть она у меня, нету ли, и если есть, то заболит когда, с ней только мучайся – мне это надо? А медосбор хороший – это дело, можно и взвесить, можно оценить. Чёрт поздно ночью заявится... мне показалось, что чуть выпимши...» – сказал Шура так и умолк, лук и картошку опуская в котелок.

«И чё?» – спросил чуть погодя тогда Коля.

«А чё?» – переспросил Шура.

«Подписал?» – спросил Коля.

«Подписал, – ответил Шура. – А как?.. И не жалею. И договор с печатью, настоящий. Храню его, – сказал Шура. – У сестры в городе. Среди важных бумаг».

– Что он наврал-то, не похоже.

Да нет, конечно, не наврал.

Отдыхал Коля, выбрав место и усаживаясь на отвале, уже несколько раз. Раз пять, наверное, не меньше. Опять пристроился, сидит. Уснуть он не боится – выпался. Да и не так теперь уж холодно. Градусов тридцать.

– И в тридцать тоже можно окочуриться...

Кому судьба-то.

Посидел, оттого, что закурить нечего, подосадовал – не до отчаяния, до огорчения. Когда почувствовал, что силы восстановились, подался дальше.

– Ну, хоть немного бы, не отказался...

Бутылка пива бы – и то.

Идёт, не радуясь и не печалься, почти спокойный, в разные стороны из-под шапки, низко нахлобученной, поглядывает, взгляд не задерживая долго ни на чём. Глаза давно уже привыкли к яркому – чуть только шурит – чтобы в них свет умереннее врывался, не захлестнул их.

Тени, видит, от деревьев на снегу сиреневые. Лежат беззвучно, распластались. На них заметнее, как мыши исчертили снег.

Дали томят отстранённостью душу, влекут к себе; то, что за ними, ли её так соблазняет.

– И чё такое... почему?

За ними что? Да то же самое: за далью даль. Но чем так манят? Словно там то, что ты всё время ищешь. А там – обман. Который и блазнит.

Идёт. И так примерно рассуждает.

Похмелье мучает. Приходится терпеть: дело-то всё равно пока поправить нечем. И думать лучше о чём-то другом, чтобы о нём не думать, о похмелье.

«Хорошо там, – думает Коля, глядя на горизонт, – потому, что меня там нет. Там окажись, хорошее сюда переместится, если я на него смотреть оттуда стану. Значит, и тут должно быть хорошо мне».

– Если по логике...

Но всё равно вот... почему-то?..

Километра за два до Ялани, в Межнике – так называются поля, ныне заросшие, и ручей, тут протекающий, – прямо на мосту через этот ручей, простом накатнике из брёвен, догнал Колю тот же водитель, на гружёном уже – были встречные, порожние, без остановки проносились, лишь посигналив, – кругляком лесовозе.

Не хорошо мне, не легко, а как-то это...

Дверь приоткрыл, кричит водитель:

– Садись!

Забрался Коля в кабину. Снял рукавицы, после – шапку. И телогрейку расстегнул.

– Тепло тут, – говорит.

– Не улица, – говорит водитель.

– Во всём-то и сопрею.

– И телогрейку можешь скинуть.

– И в телогрейке посижу. Недолго ехать.

– Я думал, чай уж дома пьёшь.

– Не на колёсах.

– На ходулях.

Созвонился он, водитель, оказывается, со своим зятем, начальником уголовного розыска. Сообщил ему про *околевшего*. На что зять, дескать, ответил, что сегодня же, если найдёт свободную машину, отправит вслед за ним, за его лесовозом, своих сотрудников, и он, водитель, место им покажет. Договорились и о времени: в три, мол, часа, после обеда.

– До темноты успеют, может, – сказал водитель.

– Успеют, наверное, – сказал Коля. – Не глухозимье.

– Мне-то, пусть и того темнее будет, и ночью возим... Зять Шуру знал, – сказал водитель. – Был у него на пасеке когда-то.

– Кто у него там только не был, – сказал Коля.

– Где медовуха, там и... пчёлы.

– Летят на сладкое.

– А как!.. Ну, он на должности, не шибко-то себе позволить может, – сказал водитель. – Хотя бывает... Да чё я... Бог ему судья, с такой работой.

Коля согласился:

– Работа та ещё... собачья.

Минуют кладбище. Оградок будто нет, и тумб со звёздами не видно. Так завалило. И, на бою тут, занесло. Только кресты – без перекладины Пилата, и та под снегом, и лишь большие, не над детскими могилами – глядят верхушками, обозначая погребённых: тут, мол, они, хоть и зима, о них не забывайте.

Коля помнит: здесь его дедушки и бабушки, тёти и дяди, тут и отец его лежит.

«От века всех почивших упокой», – подумал так, словно за матерью, за бабушкой ли повторил.

Круглая в своём месторасположении, Ялань отсюда – как на белом блюде с тёмно-зелёной окаёмкой ельника – на голубом престоле неба. Над нею Камень высится, кудрявясь соснами, с редко торчащими, как великаны, на гребне лиственницами. Бока его, где они голые, а не заросшие ольшаником, на солнце блещут.

– Красиво, – сказал водитель.

– Красиво, – Коля подтвердил.

– Место хорошее. И вид. Вроде и езжу часто тут, а всё любуюсь, не привыкнуть... Большое было, говорят, село.

– Я ещё помню. Эм-тэ-эс...

– Куда чё делось?

– Разорили.

– А мы-то где, когда нас разоряют, куда мы смотрим?... И мы ведь тут же! Разорили. Как воробьиное гнездо...

– Ну, разорилось.

– Разорилось... Жизнь на земле меняется.

– От этого не легче.

– И мир на месте не стоит. Я не про легче... Всегда так: где-то убывает, – говорит водитель, – где-то прибывает.

– Не спорю, – Коля говорит.

– Закон природы... Сами себе жить не даём. Шило нам в заднице мешает, никак не вынем. А всё и валим на кого-то.

– Я не валю.

– Да я не про тебя. Мне чё-то жалко стало Росомаху, лежит один там...

– Он ушёл.

– Куда ушёл?!

– Вернулся, может.

– Ага, и пляшет... чтобы разогреться, – говорит водитель. – В термосе чай закончился, а пить охота. После пельменей...

– И я бы выпил, – Коля говорит.

– Скоро уж дома будешь – выпьешь.

– Не знаю... Вряд ли.

– Чё так?

– Так.

Спустившись в длинную, но пологую гору и перемахнув неглубокий ложок, в Ялань поднялись. На тракт выехали, промчавшись Маковской, пустынной сейчас, без людей и без скотины, и даже без собак, с редкими на ней покосившимися избёнками, заброшенными в большинстве, улицей. Остановились посреди деревни, где раньше клуб стоял, пока он не сгорел, а до него ещё – управа волостная находилась.

Попрощавшись с водителем, вылез Коля из кабины. Давно не видел родину – соскучился, чуть не заплакал.

– Гущи хотя бы надо было прихватить... с собой. Об этом чё-то не подумал.

И час бы это...

Лесовоз, уже по асфальту, покатил дальше, в сторону Елисейска.

Как гриб из земли, из-под снега, по какому-то будто волшебству, выросший возле Коли маленький, противный человек, похожий на чёрта из кинофильма «Вечера на хуторе близ Диканьки», с визгливым криком «Коля! Коля! Коля! Коля!» увязался за машиной, проводил её до ельника, назад пулей вернулся и поскакал в Линьковский край, куда намерен идти Коля. И ни одна собака на него нигде не взлаяла.

– Дурак какой-то, – сказал Коля.

Не стал заходить к матери, пошёл сразу к Луше.

– Хотя бы гущи.

Но... бы это...

Снег возле ограды убран, в отвалы смётан – те выше Коли, – как траншея. Чтобы разглядеть соседний дом или весь край, надо взбираться на снежную стену, на самый верх её. Чисто выметено и в ограде. Серебрится инеем озябшая мурава, жёлтая, в основном, но кое-где и малахитовая – живая, значит, просто спит.

Слабый, ленивый дым, словно от брошенной, но не погашенной сигареты, тянется из труб неторопливо – в доме и подсобке, – к небу наискось, не прямо. И чем-то вкусным носит по округе.

– Отвык, ли чё ли?... Слюни побежали.

Давно горячего не ел.

На алюминиевых рогах чуть поскрипывающей телевизионной антенны на долговязой жерди, слегка раскачивая её, воробьи сидят, чирикают звонко; воробьи же шумно возятся и за наличниками. Сковорода чугунная стоит среди ограды, на мураве, пустая, что в ней и было, всё склевали – они же, эти воробьи, больше тут некому. Луша добра и к воробьям, хоть и жидами называет их, – *жалет*.

Овец она, Луша, во дворе кормит, разговаривает с ними, слышно.

Прошёл Коля во двор.

– Здорово, – говорит.

– Здравствуй, – повернувшись к Коле, отвечает Луша спокойно, словно сегодня утром лишь они расстались. – Пропашший, прибыл.

– Прибыл.

– Надолго?

– На день... может, на два.

– А, хорошо... Сбегашь, – и это Коле, не кому-то, как будто Коля побежит, а не пойдёт размеренно, представить трудно, – после к Нестерову, попросишь у него кобылу. Овцы без сена. Много уходит им – меньше съедят, а больше стопчут. Не сёдня, ладно уж, а завтра. Потом распутица-то – в лес не сунешься, не доберёшься до покоса. Не то что лошадь, а и трактор-то не вытянет – тут, в гору, на пригон к нам. А он не даст, дойдёшь до Белошапкина. Конь у него резвый, не перетрудился, – говорит Луша, – только воды на нём с Бобровки привезёт да дров раз в месяц. Лоснится, сытый.

– Ладно, – говорит Коля. – В бане помоюсь, после бани... Если он дома. Баню не топила?

– Где ему быть?.. Нет, не топила.

– Куда уехал, может, мало ли?

– Нестеров?.. Дома он. Видела его я на пригоне. Навоз выкидывал из стайки. Не у тебя в лесу друзья-то твои были? – спрашивает Луша, подняв на руки палевого кучерявого ягнёнка и поднося ему бутылку с молоком. – Чё-то не ест совсем и мамку не сосёт, не околел бы, лихорадка.

– Какие? – спрашивает Коля.

– Красивый – жалко, если сдохнет... А у тебя их много, чё ли?

– Ну...

– Электрик и Флакон. Будто не знашь...

– Эти.

– Эти. Их тоже долго тут не видно было, как и тебя, я и решила...

– У-у.

– Позавчерась надумала за кладбишше пойти на лыжах, решила прутьев наломать, – говорит Луша. – Голик последний растрепался, и на метлу, метла уж развалилась... Ну, милый мой, да это ж молочко, пошто не пьёшь-то? Не куражься... Вижу, плетутся мимо кладбишша и тащат чё-то... Один, Флакон, – волоком по дороге на верёвке за собой как вроде флягу, другой, Электрик, – пилу на загорбках. Чё-то – похоже на пилу. Пила, однако... Ездили в город, флягу сдали. Вечор гуляли. Рая ко мне за солью приходила. Я и не знала бы, она мне сообщила. Ещё, наверное, гудят... И песни пели, слышала отсюда... Были-то у тебя? – спрашивает Луша.

– У меня, – говорит Коля.

– Где ещё быть им, как не у тебя. Не в Москве же, не на выставке... Ну-ка, родимый, нос не вороти. И нос сухой вон... Я так и думала, – говорит Луша. – Не в турпоход же в лес они ходили. Не лес валить... Ты есть-то хочешь?

– Так, маленько.

– Тебе за флягу отвечать, Федя не спустит.

– Вычтет.

– Обязательно. И за пилу-то.
– Пилы там не было.
– Где-то же взяли ведь, какую-то несли...
– Не знаю.
– Не на дороге же нашли... И знать тут неча... Пилы на ёлках не растут – не шишки и на дорогах не валяются.

– Ну...
– Вот тебе и *ну*.
– А у нас нет, случайно?..
– Нет, – говорит Луша.
– Худо, – говорит Коля.
– А мне не худо.
– Да я так.
– Чаю попей. На печке чайник... Не ждала... Я пока тут вот, с этим разберусь... Скоро приду, налажу чё-нибудь. Суп там, на печке же, должён поспеть. Кожа-то на тебе ещё не лопнула?

– А чё?
– От грязи.
– Нет.
– Больше двух месяцев не мылся... Или там ванна у тебя, в благоустроенной квартире?
– Ванна.
– И душ. Ага. И Интернет.
– А папиросы хоть купила? – спрашивает Коля.
– Купила, – говорит Луша. – В сенях висят, в пакете салафановом... Чтобы в избе-то ими не воняло, то ж – задохнуться... никотин.
– Запах как запах, – буркнул Коля.
– А? Чё ты там?
– Да я ничё.
– Чё-то всё сам с собой, прямо как этот...
Двор не глухой – насквозь его просвечивает солнце.

В старой, когда-то чёрной, теперь бурой, выцветшей плюшевой жакетке, застёгнутой на все пуговицы и перепоясанной ещё пеньковой верёвкой. В тёмно-коричневых штанах *лыжных* с начёсом. В серых валенках с калошами, с завернутыми и надрезанными сзади голенищами. В пуховой серой шали, с обвязанными вокруг шеи концами. С голыми, от мороза красными, руками. Висят вязаные шерстяные варежки на поясе, заткнутые под верёвку. Луша, и без того полная и ростом малая, в этом наряде вовсе как бочонок. Но шевелится расторопно.

Лицо у Луши хоть и лисье, как Коле нравится определять, с тонким, чуть вздёрнутым носом, с жёлто-зелёными глазами с узким, продолговатым разрезом, со вскинутыми возле висков вверх тонкими рыжими бровями, с густыми, длинными и почти белыми ресницами, словно сплошными, но по душе она бесхитростная. Мать её, покойница, Глафира Силюяновна, не зря называла свою дочь простодырой. «Шуток не понимает, – она же говорила. – Всё принимает за чистую монету. Ох, ну и девка». Вся, от волос до пяток, Луша в крупных золотых веснушках, которые не сходят с тела и зимой, наверное, с лица-то – точно. Волосы пепельного цвета, обычно скрученные на затылке в тугую крендель, который и сейчас угадывается под платком.

Родилась Луша на Алексеевском Шлюзе, в старообрядческой семье. В семь лет увезли её от родителей в яланский интернат. Закончила она здесь восемь классов. *На одне трояки*. На Шлюз обратно не вернулась, никонианами – по словам её матери – испорченная. Устроилась в ясли уборщицей. Ясли закрыли, осталась без работы. Вышла замуж за молодого кержака, приехавшего когда-то с перебравшимися из Ворожейки в Ялань родителями, по имени Савин, по

фамилии Лоскутников. Савин *маненько* был *блажной*, *маненько тронутый*. Держал он пасеку. На ручье Смолокурennom, в семи километрах от Ялани, на волоке. Медовухи наварит. Ходит, весь день ею *потчюясь* да от *удовольствия побрякивая*. Гости придут к нему, он хвалится: дивно медишку нынче накачал, пойдём в омшанишко, мол, – покажу. Глухаришек настрелял, пойдём в амбаришко, мол, – полюбуемся. Рыбы наловил, спустимся в погребешко – поглядите. Назавтра отрезвеет, попросят его гости мёдом, дичью или рыбой угостить их. А Савин: «Год худой. Ребята, нету!» Когда пьяный – хоть всё у него было заberi, а когда проспится – на всё у него один ответ лишь находился: нет ничего, мол, год неладный, всё, мол, к тому идёт – к *опустошению*. Вроде и простоватый был мужик, как и жена же его Луша, *два сапога пара*, но обдурить Савина в какой-нибудь сделке, в отличие от Луши, было трудно. Это ей, Луше, ночь за день можно выдать. Приблизили его, Савина, к себе хитроумные начальники из елисейской охотинспекции, чтобы пользоваться его силой и гостеприимством, выдали ему фальшивые *корочки* инспектора, он и *возомнил о себе лишнего*. Всех стал останавливать в лесу, до всех начал *доказываться*. Здоровый был, мощный, как Илья Муромец, *не выболел*, сопротивляться ему было сложно. У многих ружья отобрал. И до своих родственников добрался. Стал как-то у одного из них, придя к тому в таёжную избушку, ружьё *аннулировать*, а тот схватил подвернувшиеся под руку железные вилы и ткнул Савина ими в грудь, наверное, не сильно – только продырявил ему лежащие в кармане энцефалитки стопкой поддельные *корочки* охотинспектора и действительный охотничий билет да под соском чуть ранил кожу. Связал его Савин, принёс на себе в Ялань и держал, *как аманата*, у себя в доме, *поя и кормя*, пока не приехал настоящий инспектор и не приказал Савину отпустить пленника. Любимой присказкой у Савина была такая: *мазни меня в рожу!* Я покажу им, мазни меня в рожу, мол. И что такое?

Ехал однажды Савин зимником к себе на пасеку, мягко устроившись в санях на сене, пчёл проведать да избушку протопить надумал. О чём-то думал. Встречаются ему у Вязмина-ручья его родственники, которых он *донёк уж основательно*. Не разъехаться им на узкой дороге. Ты, мол, сворачивай. Нет, дескать, вы. Спорили, ругались, из саней вышли и драку учинили. В передке саней у Савина молоток торчал, которым он оббивал снег с копыт лошади. Молотком этим несколько раз его по голове, без где-то уже свалившейся с неё шапки, крепко стукнули. Потом, поверженного, и ногами отходили. Погрузили Савина, окровавленного, в сани, развернув коня, в Ялань его направили, а сами назад поехали.

Яички у него, у Савина, как после выяснилось, были разбиты, умер он от перитонита через пять суток. Если б не это, выжил бы, конечно. В больницу ехать отказался. Бог, мол, оставит помирать, врачам – одна только помеха, время зря тратить.

Похоронила мужа Луша, жила какое-то время совсем без денег, *на воде да на корочке хлеба*. Была картошка, были овощи. Потом овечку и барана в долг у Белошапкиных купила, овец стала разводить. Табун у неё теперь – голов сорок. Сошлись после с Колей. Пока живут вот.

Натаскал Коля вёдрами на коромысле воды с Куртюрмки, сначала в дом и в подсобку, затем и в баню. Баню затопил. Со двора после выкидал. Дров наколот, отдельно их сложил – столько, что долго Луше за колун не надо будет браться.

Беремя в дом принёс, бесшумно, бережно их, словно живые, пристроил около печи, на кухне.

После разделся и разулся у порога, обулся в *тапочки* – пимы с обрезанными голенищами. До телевизора прошёл, включил его, сел на диван.

Давно не слушал, не смотрел. Смотрит и слушает внимательно.

Передают концерт, в честь какого-то профессионального праздника, и объявляли какого, но у Коли из головы тут же вылетело. Поют – *как заполошные, орут или вижжжжт, как полумные*, – будь бы тут Луша, так бы и сказала, – *ногами дрыгают* – танцуют. *Им ладно, деньги-то идут*. Луша бы на такое *заплевалась*, смотреть не стала бы, ушла. Коля и к этому относится

спокойно. К свету не липнет грязь – так говорит Колина мать, – свет только закрыть можно, как солнце тучами, и то на время.

Прерывается вдруг трансляция, появляется на экране дикторша, садится за стол к микрофону, открывает какую-то папку и, глядя в упор на Колю, спрашивает:

- Вы – Николай Сергеевич Безызвестных?
- Я, – говорит Коля.
- Где же вы пропадали, мы вас обыскались.
- В лесу был, – говорит Коля.
- В лесу он был...
- А чё такое?
- Вам присуждено звание Героя России.
- За чё?
- За прошлые заслуги в армии. Нашла, – говорит дикторша, – награда героя.
- Да я там вроде ничего такого и не совершил, рыбачил только.
- Приказ министра обороны.
- Ну так, дак это...

Закрывает дикторша папку, встала из-за стола и, не прощаясь, исчезла с экрана. Концерт продолжился. Не до концерта стало Коле.

За шторой, закрывающей проход из прихожей в горенку, мелькнул кто-то и тут же выскочил из-за шторы.

- Ох, ну и рожа. Чем бы в тебя кинуть?
- Рожа исчезла, будто растворилась. Штора колышется ещё.
- Вошла Луша. Коля спрашивает:
- Ты газеты не читала?
- Не до газет мне, – говорит Луша. – А чё? – спрашивает.
- И районную?
- Да никакую.
- И ничего такого не слыхала?
- Какого?
- Ну, про меня...

– Чё про тебя?.. Ты ерунды не городи. Тебе кальсоны вот и майка, рубаха тёплая, носки, а полотенце там, в предбаннике, найдёшь. Чё ты наделал?

- Да ничё.
- А чё болташь тогда?
- Да просто...
- Совсем уж это...
- Ну, потом...

Отправился Коля в баню. В бане не холодно уже, но и не жарко – как Коля любит. Вода нагрелась – пар идёт.

Разделся Коля, воды в таз набрал. Забрался на полочку – *отмыкает*.

Запустив изморозь, входят в баню два рослых мужика. В мохнатых папах, бородатые, с саблями на боку. Стоят молчат, глядят на Колю.

- Немые, чё ли?
- Нет, – говорят, – тебя убить пришли.
- За чё? – спрашивает их Коля.
- За всё хорошее, – отвечают.
- Так я и дамся...

Зачерпнул Коля, дотянувшись, из котла горячей воды, плеснул в мужиков – те убежали. Помылся наскоро. Домой пришёл. Спрашивает у Луши:

- Не было никого у нас?
- А кто тут?
- Два мужика какие-то.
- Да никого... Верный бы лаял.
- Чё, вернулся?
- Весь в куржаке, охотился за кем-то.
- У-у. Покормила? – спрашивает Коля.
- Покормила, – отвечает Луша. – Он у тебя не жрал ничё, наверное, всё это время – худой, как палка.
- Кашу варил ему. Давал, чё было.
- Чё было, слопали друзья... Как-то живой ещё, бока не слиплись... Впроголодь сам, поди, и кобеля морил.
- Наскажешь, – говорит Коля.
- В шею их надо было гнать, друзей-то этих, – говорит Луша.
- Пошто морил-то? Не морил.
- И сам дошёл – кожа да кости. Ещё погибнешь на рабочем месте. Чё потом делать мне с тобой?
- Да не погибну.
- Ага. Как знать. Зелёный вон, как ряска.
- А казаков-то кто послал?.. К себе домой как будто заявились.*
- Сварила Луша картошки в мундире, грибов достала из подполья, капусты квашеной из сенцев принесла. И суп готов – с бараньей лыткой.
- Обедать сели. Луша помолилась.
- Ваня... Голублев... приехал, – говорит она чуть погодя, с долгими паузами: на ложку дует – суп *калёный*.
- У-у, – говорит Коля. И он на ложку тоже дует.
- Катерина, бельё с ней вместе полоскали на Куртюрке, рада-радешенька.
- Угу.
- Детей привёз ей, будет нянчиться, души не чает в них... Ты на себя хоть в зеркало смотрел?
- Нет, – говорит Коля. – А чё? – спрашивает.
- Смотреться будешь, в обморок не упади.
- С лесу вернусь совсем, тогда и постригусь.
- Не тока это... Лицо скукожилось в кулак, в куричью гузку... Ну, хоть помылся.
- Чеснок подай мне, – просит Коля.
- Наталья наша, продавец, – говорит Луша, передавая Коле головку чеснока, – как день рождения своё отметила, в начале февраля, так до сих пор не просыхала... Увезли в город. Под капельницей.
- А торговал кто?
- Кто... Никто.
- А хлеб-то как?
- А привозили. Чё-то ещё у нас произошло, в Ялане тут, а и забыла. Хотела чё-то рассказать. Ну, может, вспомню. Со стиркой этой вылетело из ума.
- А у нас, точно... – говорит Коля.
- Нету, – говорит Луша. И говорит: – А, вспомнила. Сказать-то чё ещё хотела. Я же барана продала тут.
- За сколько? – спрашивает Коля.
- Каким-то нерусям. На белой «Волге» приезжали... За две, – говорит Луша.
- А-а, – говорит Коля.

– Больше не стала уж запрашивать.

Пообедав и убрав со стола, пообещав посуду вечером помыть, Луша отправилась в подсобку.

– Сколько уж выстирала, и ещё гора лежит там, за раз не справлюсь, – перед уходом так сказала. – Как и накопилось?

Сидит Коля на диване. О чём-то думает сосредоточенно, судя по виду. Взгляд рассеян – неподвижный. Словно устался Коля на водный поток, на проплывающие облака, на пламя ли, а не на стену.

– Хотя бы гуши.

Солнце в окно светит – низкое уже, но ещё яркое, – вычертив на голый, в октябре ещё, к *Покрову*, с синькой побеленной, стене оконный переплёт и занавеску, краем цепляя телевизор, – в нём отразилось.

Вспомнилось Коле:

Зима. Скорее всего, зима, поздняя осень ли: тонкий куржак внизу, полоской узкою, на стёклах окон – кружево. Затихший класс. Перья скрипят, носы сопят. На стене – от плинтуса до середины окрашенной, зелёной, сверху белёной – солнечный свет, словно проектор, нарисовал *окно*, в котором тень определил – чёткий, словно старательно и аккуратно вырезанный из чёрной бумаги, профиль склонившейся над столом классной руководительницы, учительницы младших классов, Катерины Васильевны; медленно, медленно тень выбирается за *раму*; к концу урока тень в *окне* уже отсутствует; звенит звонок...

И там же, в классе, Голубева Катя...

Поднялся Коля, в горенку направился, там к этажерке подступил. Выбрав, взял с полки и положил их сразу в рюкзак – книги: «Тени исчезают в полдень», «Половодье», «Всадник без головы», «Белый Клык», Брет Гарта, второй том, «Айвенго» и «Эдинбургскую темницу», – чтобы потом, перед уходом на деляну, не забыть их. Столько набрал, чтобы не тяжело было нести, взял бы и больше.

– Доеду, может быть... на лесовозе.

А там немного уж – дойду.

Вечереет. Над потемневшим резко ельником разыгралась заря, как будто небо вспыхнуло, – искра от солнца заронила. Самолёт летит, громом раскалывая поднебесье. След от него похож на открытую свежую рану, кровь из неё не заточила бы, – багряный. В ельник вороны ночевать направились. По три, по две, поодиночке. Уже не слышно их, молчат – за день накаркались до хрипоты тут.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.